

Эдуард БУРМАКИН

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОТРЫВКИ ИЗ ПОВЕСТИ

«Нередко побежденная альтернатива не исчезает бесследно, но накладывает более или менее существенный отпечаток на победившую тенденцию общественного развития»

Б. Могильницкий «Введение в методологию истории. «М. 1989 г.

«И это все? Все, что называется жизнью? Стоило суетиться!» Впервые эти мысли пришли мне в Лагерном саду, на его надречной круче, где еще иногда пробуждается детское ощущение способности летать, приподниматься над землей и парить на высоте птичьего полета, как вон тот молодой коршун, который и сейчас на одном со мной уровне, потому что я стою на крутояре. Мы тут встретились с моим университетским однокашником Борей и разговорились-расчувствовались, вспомнили юность, разные события и товарищей своих; и я, поддаваясь лирическому настроению, сказал, не подумавши, легкомысленно самое банальное: как быстро молодость-то наша прошла. Боря взглянул на меня с кривой усмешкой: «Так ведь и жизнь прошла», — сказал он.

Жизнь прошла? Боже мой, жизнь прошла! «Как прошли Азорские острова». В пору юности эту строчку обожаемого мной поэта я воспринимал, как шутку, остроумие — разве жизнь может пройти, как Азорские острова? Острова прошли, а жизнь осталась. И то, что поэт застрелился, не значит, что его жизнь прошла; ее насильственно прервали. А у меня, оказывается, жизнь прошла. И это все? Все, что называется жизнью?

Одна моя жизнь, не осуществившаяся, а только возможная, уже была однажды прекращена, прервана, грубо и бессмысленно. Мне было девять лет, и я был первенцем у своих молодых родителей, первым внуком у моих молодых деда и бабушки, первым племянником у совсем юных братьев отца. Наверное, я им представлялся неким чудом, вдруг объявившимся среди них, живым, шевелящимся, улыбающимся или орущим невпопад, они все меня любили и нежили. Какая чудная, захватывающая жизнь начиналась! И ее прервали, уничтожив семью больших красивых людей. Те же, кто остался жить, в течение многих десятилетий, как и я, спустя шестьдесят с лишком лет, все винули себя, все пытались догадаться, была ли возможность спасти хоть кого-то из

семьи, хоть одного, не упустили ли они имевшуюся возможность. Ведь были, были некие странности во всех тех событиях, они свершались не вполне по шаблонному сценарию, как у всех других. Им тогда даже приходили мысли о том, что исполнители злодеяства, словно бы не хотели его продолжать, и всем своим поведением подсказывали: спасайтесь, бегите, мы сделаем вид, что ничего не видим; вот что их мучило, вот где они хотели бы найти свое оправдание. И я, теперь уж единственный еще живущий из тех, кто тогда был, единственный, кто все это помнит в подробностях, тоже помню то нестерпимое желание быть оправданным Я должен об этом рассказать.

Не помню, кто из великих художников, то ли античности, то ли эпохи Возрождения, собирався написать фрески и назвать их «Упущенные возможности». Они должны были опоясать зал по верху стен, под самым потолком, так, чтобы художник, поднимая голову и задумываясь о прожитой жизни, всякий раз видел этот красочный фриз; где было бы изображено то, что он в свое время упустил — сцены обильных застолий, веселых попоек, страстных объятий с нежными девами и юными женами, беседы с мудрыми философами, часы, проведенные за чтением того, чего так и не успел прочитать в реальной жизни, и минуты искренних молитв, ну и тому подобное. Как мне помнится, он не написал этих фресок и, таким образом, упустил еще одну возможность, которую предлагали ему собственное воображение и жизнь. «Фреска, фресковая живопись (ит. fresco — свежий) — роспись водяными красками по сырой штукатурке» (Словарь иностранных слов, М. «Русский язык», 1982). И вот теперь я пытаюсь писать доступными мне словесными красками по сырому полотну души, оплакивающей уходящую жизнь и упущенные в ней возможности (Так я пытаюсь объяснить жанр литературной фрески!)

Стендаль в «Истории живописи в Италии» (Собр. соч. в 12 т, т 8, стр. 145) пишет: «Фреска, где надо спешить, довольствоваться сделанным кое-как, больше подходит Микеланджело или Ланфранко, талантам решительным».

Мне, конечно, и в голову не может прийти мысль сравнить себя с великими художниками, но вот мысль о том, что фреска требует быстроты, «где надо спешить», кое-что объясняет и мне самому. Недавно и я понял, почувствовал всем своим существом, как мало остается времени для того, чтобы успеть еще что-то сказать. И в самом деле, надо спешить!

Когда дяде Ване перевалило за семьдесят, он говорил мне:

— Мы с тетей Марусей вступили в смёртный возраст

Он говорил смёртный, через ё. Говорил так потому, что средняя продолжительность жизни в СССР в те годы, по официальным данным, равнялась семидесяти годам.

Никогда не докучал дяде Ване серьезными вопросами, да и он чаще всего пошучивал, вспоминал хорошее, рассказывал разные байки и анекдоты, вообще всегда становился душой любой компании, даже в старости. С довоенных времен помню шутивную песенку:

Дядя Ваня, хороший и пригожий,
Дядя Ваня— всех юношей моложе,
Дядя Ваня чудесный наш толстяк,
Без дяди Вани мы не на шаг.

Именно эти слова полностью относились к моему дяде Ване.

Впрочем, необходимо оговориться, дядя Ваня был дядей моему отцу, а мне, следовательно, приходился двоюродным дедом. Но и я, и мои дети, и вообще все называли дядю Ваню дядей Ваней.

Да он и был именно таким: и хорошим, и пригожим, и моложе многих молодых, и толстяком. Он мне рассказывал, что в двадцать шесть лет не мог самостоятельно зашнуровать ботинки — пузо мешало, помогала тетя Маруся.

Вспоминаю, как однажды в какой-то светлый, праздничный день моя мама говорила о дяде Ване, очевидно, принарядившемся, а он мог принарядиться, например, к белой крахмальной рубашке под темно-синим костюмом надеть галстук-бабочку, чего никто из наших семейных никогда не делал, — вот в такой момент мама и сказала: «Вы сегодня, дядя Ваня, похожи на короля Генриха». И все согласились, а дядя Ваня только улыбался большим белозубым ртом.

Позже я догадался, почему мама сравнила дядю Ваню с королем Генрихом. У нас было несколько разрозненных томов старинного, шикарного, с неподъемными книгами, издания Шекспира, с великолепными иллюстрациями, графическими и живописными, на плотном твердом, но тонком, картоне под прозрачной папиросной бумагой. И под одним из таких защитных прикрытий — красочный портрет человека в тяжелых, средневековых, коричневых тонов одеждах, с круглой горностаевой шапочкой на голове, с совершенно дяди Ваниной бородой, усами, крупным носом и широкой улыбкой. Под портретом не было никакой подписи, но считалось, что это король Генрих; может быть, актер, исполняющий эту роль. У дяди Вани была короткая борода и усы, а голову он брил, и я помню его чаще всего с